

XI Ставропольская психоаналитическая конференция

Обиды пациента и обиды аналитика: человеческая ранимость как моральная позиция в психоанализе.

*Имануэль Амрами,
Тель-Авивский Институт Современного Психоанализа*

Слово обида не является психоаналитическим термином, вы не найдёте его в Психоаналитическом Словаре Лапланша и Понталиса; это слово, взятое из повседневного словесного обихода. Поэтому, на мой взгляд, есть немало смелости в том, чтобы посвятить конференцию анализу душевного явления, которое ещё не было систематически рассмотрено в литературе как разработанное техническое понятие. С другой стороны, это открывает перед нами возможность стать своего рода первопроходцами на территории, которая ещё почти не была исследована.

Кстати, Фрейд именно это и делал, брал простые общепринятые немецкие слова и превращал их в технические термины, которыми мы по сей день пользуемся, перенос-трансфер, катексис, сверж-я и т.д.

На немецком языке Фрейда слово обида это обычно Groll, что чаще всего переведено на английский в Стандартном Издании как resentment, или зачастую grievance. Иногда Фрейд пользуется в подобных случаях словом Erbitterung, т.е. огорчение. Есть случаи, когда переводчики и авторы, пишущие по-английски, прибегают к словам assault или insult, которые тоже означают обиду, но больше в смысле нанесённого оскорбления или унижения. Как видите, не так легко найти прямые эквиваленты русского слова обида в мировой психоаналитической литературе и не всегда ясно, какие термины искать в индексах профессиональных книг. Но и по-русски не так легко в точности определить оттенки значений этого слова. Я вижу несколько параллельных, тесно связанных друг с другом аспектов обиды: чувство, возникающее у обиженного в момент её переживания, сам акт нанесения обиды, его аффективный заряд и обиженное негодование, которое человек несёт в себе в продолжении длительного времени, что называется, затаив обиду.

Для начала вернёмся к профессиональной литературе: в каких же регионах психоаналитического пространства можем мы обнаружить понятие обиды? Прежде всего, вероятно, в рамках исследования явления нарциссизма, в связи с понятиями нарциссической раны, удара по нарциссизму, нарциссской чувствительности. Понятие нарциссической раны чаще всего возникает в контексте комплекса кастрации, а также его женского проявления – Penis Neid, зависти к пенису. В этой перспективе, обида есть реакция на недостаток, на то, чего не хватает, на то, что было либо не дано изначально, как в женском варианте Penis Neid, либо отобрано, как в мужском варианте страха кастрации. В любом случае, даже когда оно не было дано с самого начала, оно все равно было отобрано, потому что с точки зрения обиженной, ведь могли же дать, а не дали, то есть, по сути дела, отобрали. Так же и в мужском варианте, налицо мотив насильственного лишения чего-то самого дорогого. В этом смысле, обида есть, по самой своей природе, явление интерсубъективное, межчеловеческое, она подразумевает наличие обидчика и происходит в рамках общения, действительного или воображаемого. Поэтому очень поучительно увидеть этимологию русского слова обида: оказывается оно происходит от старорусского «об» и «видеть» - об-вида, т.е. когда кто-то обделен, обойден

виденьем. Я обижен, если важный мне Другой меня не увидел, не принимает меня и мои чувства в расчет; на ивритском сленге говорят в таких случаях «я для него прозрачен», что значит «он меня в упор не видит». Это важное intersубъективное измерение обиды ни в коей мере не может быть нами преуменьшено: обида как таковая это уже объектные отношения, она подспудно в любом случае включает Другого и демонстрирует нам, насколько бессмысленно рассматривать человеческую психику как отдельно взятую, оторванную от интеракционной канвы, данность.

Субъективное понимание обиды состоит в представлении, что меня обошли и чего-то недодали, т.е. в символической идее недостатка, понимаемого как неполноценность, ущемленность. Недостаток это утрата, потеря – конечно же, потеря собственной ценности, но, прежде всего, в качестве нарциссической раны, это потеря целостности тела, т.е. кастрация и её манифестации и, естественно, потеря материнской груди, потеря места в материнской утробе, даже потеря эрекции в конце полового акта, и, само собой разумеется, потеря молодости, красоты, силы, здоровья, любви и все те бесконечные потери, из которых складывается человеческая жизнь. Это видение жизни как цепочки нарциссических ран и утрат неизбежно связано со статьёй Фрейда «Траур и Меланхолия» и с атмосферой оплакивания, столь характерной для обиды. В этом контексте обида это утрата объекта, по меньшей мере, утрата его любви, т.е. ситуация, в которой, как гласит знаменитая фраза из этой статьи, «тень объекта падает на Я», как бы погружая это Я в затмение, в невидимость, в об- виду. Это эмоциональное состояние затмения, поражения, потери вида и достоинства определяет депрессивную окраску обиды. Статья Майкла Фельдмана "Обида и лежащая в ее основе эдипальная конфигурация" (2008) отмечает этот характерный эмоциональный тон, сопровождающий обиду и, в то же время, концентрируется на её интерактивном межличностном аспекте, который автор упоминает уже в заглавии, подчеркивая эдипальную конфигурацию обиды. Эдипальность это в первую очередь треугольник, наличие трёх персон, и поэтому она изначально предполагает отношения - с родителями, т.е. с другими людьми, для которых в рамках структуры обиды естественным образом отводится роль обидчиков, в то время, как главный герой – ребёнок – принимает на себя роль обиженного. Эта основная фантазматическая конфигурация, поддерживает и подпитывает позицию обиженного человека, что чётко выявлено Фельдманом: *«у пациента вырабатывается набор фантазий, выражающих примитивные эдипальные желания. Сила этих подспудных фантазий это именно то, что способствует возбуждению и удовлетворению, которые неразрывно связаны с обидой»*. Фельдман тем самым раскрывает еще один важный эмоциональный план обиды, удовольствие и удовлетворение скрытой агрессивности, которая неизбежно присутствует в переживании обиды и ведет к ее дальнейшему поддержанию и перенесению на других. Здесь мы переходим к следующему аспекту обиды, самому акту ее нанесения и сопровождающем его аффектам возмущения, злобы и мстительности. «Кипит наш разум возмущенный». Литературный пример такого возмущения разума я нашёл недавно в совершенно случайно попавшей в мои руки небольшой книжке, о которой вы, наверное, слышали и, может быть, читали – «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева. Рассказ ведётся от лица второклассника Саши и главной героиней его является сашина бабушка, отобравшая Сашу от мамы, своей дочери. Бабушка человек властный, и для неё смысл жизни состоит в том, чтобы растить и лелеять Сашу, хотя она не перестаёт в то же время жаловаться, что он повешен ей на шею «тяжкой крестягой». Повесть начинается со сцены купания: - Саша, в ванную! – зовёт

бабушка. – Иду! – бодро кричу я, снимая на ходу рейтузы из стопроцентной шерсти, но путаюсь в них и падаю. – Что, ноги не держат?! Я пытаюсь встать, но рейтузы цепляются за что-то, и я падаю вновь. – Будешь надо мной издеваться, проклятая сволочь?! – Я не издеваюсь! – Твоя мать мне когда-то сказала: «Я на нем отыграюсь». Так знай, я вас всех имела в виду, я сама отыграюсь на вас всех. Понял?!

Саша перепуган, ему приходит в голову, что бабушка может захотеть утопить его в ванне, а она тем временем начинает его мыть. «Вам, наверное, покажется странным, - обращается Саша к читателям, - почему я не мылся сам. Дело в том, что такая сволочь, как я, ничего самостоятельно делать не может. Мать эту сволочь бросила, а сволочь постоянно гниёт, и купание может обострить все ее сволочные болезни. Так объясняла бабушка, намыливая мочалкой мою поднятую из воды ногу. ... – Не нога, а плётка. Спрячь под воду, пока не остыла. Другую давай... Руки теперь. Выше подними, отсохли, что ли? Встань, пипку вымою. – Осторожно! – Не бойся, все равно не понадобится.

Эта гротескная сцена все накаляется по нарастающей, превращаясь в настоящую клоунаду, в которой одна за другой происходят с Сашей и его дедушкой дурацкие неурядицы, приводящие бабушку в неистовое бешенство, так что в конце она кричит, уже сама не зная на кого: Будь ты проклят! Чтоб ты жизнь свою в тюрьме кончил! Чтоб ты заживо в больнице сгнил! Чтоб у тебя отсохли: печень, почки, мозг, сердце! Чтоб тебя сожрал стафилококк золотистый!

Это довольно шокирующее начало вызывает у читателя мгновенное недоумение: откуда столько злости, ненависти, агрессии? Тем более, что по мере развития рассказа читатель убеждается насколько беззаветно бабушка любит Сашу, да и дедушку, насколько она преданна им, буквально, не может без них. Почему же эта любовь выражается лишь во взрывах гнева, злобных нападках и непрекращающихся скандалах? В какой-то момент бабушка сама отвечает на этот вопрос: «Ты думаешь, я всегда такая была? Всегда разве кричала так и плакала? Жизнь меня такой, Сашенька, сделала». Другими словами, бабушка обижена. Обижена на жизнь, на людей, чьей жертвой она себя чувствует. И упиваясь этой обидой, она все время возвращается к идеализированному прошлому, в ее воображении существовавшему до того, как была растоптана обидчиком, и рассказывает всем, какой была чудесной, всеми любимой девушкой: «Была в любой компании заводилой, запевалой!». Мы-то с вами понимаем, конечно, что эта идеализация – один из характерных симптомов параноидно-шизоидной позиции с ее резким разделением на полюсы добра и зла, но бабушка-то этого не проходила и поэтому сейчас с параноидальной горечью сетует Саше на судьбу: «Нас обоих предали, нас окружают предатели. Тебя мать предала... меня дедушка всю жизнь предавал».

Этот литературный пример является своего рода карикатурой, но, как любая карикатура он острее выявляет агрессивные и деструктивные стороны обиды. Обиженные и оскорбленные это нередко те, кто обижают и оскорбляют. Из сада обиды можно с лёгкостью выйти в поле садо-мазохизма, где мученик запросто превращается в мучителя. Если так, мы можем задать вопрос: а что, если состояние обиды это, по сути дела, некий камуфляж, прикрытое, служащее для оправдания выплеска агрессивных эмоций на окружающих? Не этим ли можно объяснить тот факт, что зачастую обиженные люди так упрямо цепляются за свою обиду?

Фельдман описывает это так: *«Характерная черта обиды, на которой я хочу сосредоточить внимание, это степень враждебного, извращенного удовлетворения, получаемого от непрерывных повторений, которые питают эту обиду»*. Быть может,

это постоянное возвращение к испытываемой горечи является просто выражением нужды в необходимой эвакуации внутренних агрессий? Винникотт (1942) поясняет это так: *«Обычно говорят, что дети "перерабатывают ненависть и агрессию" в игре, как будто агрессия это какое-то плохое вещество, от которого можно избавиться. Это отчасти верно, потому что накопленные обиды и результаты переживаний злости могут ощущаться ребенком, как какой-то вредный материал внутри него»*. Винникотт трактует здесь субъективное ощущение содержащейся внутри злости и обиды по Кляйниански, по аналогии с фекальными массами в пищеварительной системе, которые оказывают давление на стенки кишечника и требуют выхода. Итак, не является ли позиция обиженного своего рода оправданием для извержения первичной агрессивности?

В этой связи стоит напомнить, что со времен Фрейда психоаналитики поколениями ведут оживлённые дебаты по поводу первичности человеческой агрессии. В наши времена расхождения во взглядах по этому поводу можно определить как спор между последователями Фрейда и М. Кляйн, с одной стороны, и последователями Кохута и его сэлф-психологии с другой.

Кляйнианцы, как известно, исходят из предположения Фрейда, что агрессивность присуща человеческому существу изначально, и что поэтому человеческий младенец среди других чувств испытывает агрессивность и злобу по отношению к своему первоначальному объекту, материнской груди. Уже в 1930-м году Мелани Кляйн пишет: *«Я основываюсь на предположении, что на ранней стадии душевного развития садизм становится активным во всех различных источниках либидинального давления. По моему опыту, садизм достигает зенита в этой фазе... В период, о котором я говорю, доминантная цель субъекта это завладеть всем, что содержится в материнской теле, и уничтожить её любым оружием, которым садизм обладает»*. 22 года спустя (1952) она вновь подтверждает это мнение: *«Первая форма тревоги (anxiety) имеет характер преследования. Инстинкт смерти, работающий изнутри, вызывает страх уничтожения, и это есть первоначальная причина тревоги преследования. С начала послеродовой жизни деструктивные импульсы против объекта приводят к страху отмищения, и отсюда тревога преследования»*.

В противоположность этим взглядам, Кохут видит в агрессии явление вторичное, т.е. реакцию на раздражение со стороны среды, желание отомстить обидой за обиду. Кохут заявляет однозначно: *«Агрессия изначально отсутствует в младенце, если к нему относятся с эмпатией»*.

Последователь Кохута Баш (1986) формулирует это так: (Агрессия) *«направлена против разочаровывающих сэлфобъектов, и вызывает, казалось бы, непрекращающуюся потребность в отмищении, приводя к нарциссической патологии. Эта нарциссическая ярость является попыткой поддержания целостности себя, превращая в активность то, что было выстраданно пассивно, и стыдя другого, за то, в чем сам испытывал стыд»*.

Кохут не принимает идею первичности заложенной в человеке агрессии: *«Я стал видеть агрессивность в другом свете, т.е. не как проявление первичного инстинкта, ... но как продукт разложения, хотя и примитивный, однако же не первичный. Агрессии, с которыми мы сталкиваемся в трансфере, не являются психологической основой – ни в качестве «сопротивления», ни в качестве «негативного переноса». В первую очередь, чаще всего они результат действий со стороны аналитика (особенно, конечно же, интерпретаций), испытываемых пациентом как провалы эмпатии. Во вторую очередь,*

это возрожденные реакции на неудачи эмпатии со стороны сэлф-объектов детства (т.е. несоответствие нуждам ребёнка)». Поэтому, утверждает Кохут, «детские ярость и деструктивность не должны быть концептуализированы как выражение первичного инстинкта, который стремится к своей цели и ищет себе выхода». Кохут вступает в прямую полемику с М. Кляйн и говорит следующее: «Деструктивность, гнев, и их более поздний компонент, убеждение, что среда, по сути своей, враждебна – т.е. «параноидная позиция» М. Кляйн – не являются первичными элементами психологических данностей, но, несмотря на факт, что они могут в течение жизни повлиять на образ восприятия мира индивидуумом и на его поведение, они продукты дезинтеграции (распада сэлфа) – реакции на травмирующие провалы эмпатического отношения к самости ребенка».

Вполне естественно, что такие диаметрально противоположные теоретические позиции в понимании агрессивности и обиды приводят к значительной разнице в клинической практике, в технике и стиле общения с пациентом и в подходе к ведению анализа. Кохутианцы основываются на предположении, что какие-то недопонимания и недостатки аналитической эмпатии непременно произойдут и, естественно, вызовут у пациента реакцию обиды и негодования. Причиной тому прежде всего сам аналитик, который был недостаточно чуток и не уловил в определенный момент ранимости своего пациента. Однако же, - говорит Кохут, - он ни в коем случае не должен при этом чувствовать себя виноватым: *«имеет смысл подчеркнуть, что нет никакого предположения вины или обвинения в случае, когда аналитик признает ограничения своей эмпатии. Провалы эмпатии неминуемы – они даже необходимы, если требуется, чтобы жаждущий эмпатии анализанд сумел сформировать крепкий и независимый сэлф. Тем не менее, также критически важно объяснить пациенту, что его тоже не в чем обвинять – по крайней мере не в том, что он, якобы, проявил какую-то внутреннюю зловредность – но, что его гнев был реакцией на шаг аналитика, который был воспринят им как нарциссическая травма».* Однако же, даже когда аналитик не сказал и не сделал чего-то обидного, но у пациента все же была реакция обиды, аналитик должен, по мнению Кохута, принять эту реакцию как выражение переноса на фигуру аналитика детских обид, связанных с образами родителей, а не как проявление первичной, базисной, внутренней агрессии: *«Я верю, что человеческая агрессивность как психологический феномен вторична; что она возникает изначально как результат неудачи сэлф-объектной среды ответить на нужду ребёнка в оптимальном ... эмпатичном подходе».*

Я думаю, что вопрос, насколько человеческая агрессивность первична, насколько она является незыблемой частью нашего душевного организма, не может быть однозначно решен в ту или иную сторону на уровне психоаналитического теоретизирования. Верить ли в первичность или вторичность агрессивности, это скорее, вопрос профессиональной и моральной позиции каждого отдельно взятого психотерапевта.

Если же мы обратимся к результатам нейрофизиологических и анатомических исследований (Panksepp, 1998), то, несомненно, убедимся, что человеческий мозг заведомо оснащен необходимыми нейронными центрами и механизмами, чьей основной задачей является приведение в действие агрессивного поведения. В этом смысле, агрессивность, безусловно, является неотъемлемой частью нашего психического аппарата. Тем не менее, само по себе наличие потенциальной способности к агрессии еще не является доказательством в пользу первичности или вторичности мотивации для агрессивного поведения.

По этой причине, мне кажется, резонно прийти к заключению, что теоретическое предпочтение аналитика это результат его личного и профессионального опыта, и его индивидуальных склонностей. Так, например, кляйнианцы критикуют позицию сэлф-психологической школы, т.к. они видят в этой позиции своего рода увиливание от профессионального долга помочь пациенту увидеть себя насколько это возможно честно и трезво, т.е. не об-видеть себя. С неокляйнианской точки зрения, Кохутианский подход приводит к завуалированию неприятных, болезненных проявлений агрессивности и может только усилить склонность пациента перекаладывать свою ответственность на другого. Более того, сторонники фрейдистско-кляйнианской позиции, по сути, обвиняют сэлф-психологов в своего рода трусости, неспособности признать и стерпеть свои собственные страхи и агрессивные фантазии, а посему и в тенденции приукрасить и подсластить тяжёлые и отвратительные стороны человеческих отношений.

В рамках обсуждения явления обиды, этот неокляйнианский подход чётко выражен в статье Фельдмана. Он описывает трудности ситуации, в которой находит себя аналитик, работающий с пациентом, настаивающим на своей обиженности: *«Чувства беспомощности, разочарования и отчаяния, вызываемые у аналитика от повторяющихся жалоб и требований пациента могут оказать значительное сознательное и бессознательное давление на него и изменить его образ толкования ситуации и способ работы. Он действительно может склониться разделить мнение пациента о том, что его аналитическое понимание неуместно, и от него не будет никакого проку»*. В этой зачастую мучительной ситуации оба участника вынуждены испытывать дискомфорт и отчаяние. Поэтому, - продолжает Фельдман, - *«отчаявшись, пациент может предложить аналитику своего рода "сделку". Если он (аналитик) признает свои неудачи и ошибки, и возьмет ответственность за свою долю, то пациент будет делать то же самое. Преимущество этой сделки, быть может отвечающей потребности аналитика быть «разумным», в том, что она как бы обеспечивает пациенту и аналитику модус вивенди, без того, чтобы пациенту необходимо было бы изменить что-то и отказаться от скрытых фантазий, лежащих в основе его обиды»*. Продолжение этого сценария, по мнению Фельдмана, следующее: *«Контрпереносные тревоги аналитика могут действительно склонить его принять "сделку" - утверждая, что он на самом деле несёт ответственность за какую-то травму пациента. ... Аналитик может даже начать разделять с пациентом полу-делузионное убеждение, что некое симпатизирующее, милостивое действие, выражающееся в «сделке», может устранить почву для обиды»*.

Очень любопытно и поучительно присмотреться к этим двум столь разным подходам. Классический сторонник Кляйн чувствует, что, делая вид, будто он принимает за правду по сути лживые и патологические обиды пациента, он совершает с ним нечистую сделку и потворствует профанации анализа, который ради блага пациента должен быть направлен на раскрытие его истинных мотивов и желаний. Сторонник Кохута, со своей стороны, ощутит, что излишнее стремление к ненужной на данном этапе истине нечутко, лишено эмпатии, и может лишь ретравматизировать и без того хрупкую самость пациента, на самом деле нуждающегося в любящем и любимом сэлф-объекте.

Как видите, противоречие неразрешимо. Вдобавок к этому, я хотел бы обратить ваше внимание на еще один важный, но не очень-то явный аспект этого противоречия. На мой взгляд причины расхождения во мнениях не только в различном понимании того, как помочь пациенту. Их корни глубже. Каждый из лагерей рассматривает отношения пациента с его внутренними и внешними объектами и с аналитиком, однако же каждый

фокусируется на принципиально разном пласте этих отношений. Взор последователей Фрейда, и особенно Кляйн и Мельцера, направлен на поиск бессознательных фантазий, инстинктивных импульсов и на игру фантастических фигур, населяющих детское воображение взрослого и ребенка. Более того, сам их язык глубоко метафоричен, и обыденные слова выражают зачастую нечто эфемерное и не существующее в обычной реальности. Взгляните, например, на следующий отрывок из Кляйн (1952): *«начиная с ранних дней, фрустрация и неудобство причиняют младенцу ощущение, что его атакуют враждебные силы... Комфорт и уход, получаемые после рождения, ... ощущаются происходящими от добрых сил. Говоря о «силах», я использую весьма взрослое слово для чего-то, что младенец смутно воспринимает как объекты, хорошие или плохие. Он направляет чувства благодарности и любви в сторону «хорошей» груди, а свои деструктивные импульсы и чувства преследования в сторону чего-то мешающего, т.е. «плохой» груди»*. Если мы хотим понять, что говорит нам Кляйн, мы должны отрешиться от слов взрослого языка и попытаться мыслить превербальными понятиями младенца. Простые знакомые слова: «грудь», «хороший», «плохой», выражают нечто качественно иное, что не поддается обычной словесной коммуникации и могут быть восприняты лишь с помощью клинической интуиции и воображения.

Если мы взглянем теперь туда, куда обращен взгляд последователей Кохута, мы видим, что их фокус гораздо ближе к т.н. реальной действительности. Конечно, они тоже заняты строением подсознательной самости пациента, однако их анализ отношений с внешним миром не так фантастичен. Да и язык, которым они пользуются, гораздо менее метафоричен, как правило это недвусмысленный взрослый академический язык. В этом смысле современные релэйшионисты близки к сэлф-психологии, и не случайно: их взрастила та же американская реальность. Мы можем, таким образом, схематически определить два культурно-географических направления: одно, базирующееся на Европе и тяготеющее к изучению бессознательной фантазии, и другое, зародившееся в Америке, с ее характерным прагматизмом и интересом к отношениям между людьми во внешнем мире и в реальной действительности.

Само собой разумеется, что нет никакого смысла спрашивать, какое из них «правильнее». Скорее всего, мы все, в той или иной степени, следуем обоим в соответствии с обстоятельствами и собственными предпочтениями. Это зависит, прежде всего, от каждого отдельно взятого пациента, есть такие, для которых язык бессознательной фантазии является непонятной эзотерикой, и может пройти долгое время, покуда они не поймут его внутреннего смысла, и есть такие, для которых сэлф-психологический подход выглядит добросердечным, но недостаточно проникающим в глубины подсознания. И, возможно, траектория любого анализа начинается с установления тёплых рабочих отношений в духе релэйшионизма и сэлф-психологии, но по мере укрепления трансфера, продвигаться в сторону фрейдистко-кляйнианской перспективы. Я представляю теперь клиническую виньетку из анализа, находящегося на начальной стадии постепенного перемещения перспектив, в котором темы эдипального соперничества и обиды занимают центральное место:

КЛИНИЧЕСКАЯ ВИНЬЕТКА
(исключена из соображений конфиденциальности)

Его ранимость - это открытость для упреков и раздражения пациента, в которых он не видит ничего унижительного. Это ни в коем случае не мазохистское желание стать жертвой другого и не скрытая садистская тактика раздражить другого, чтобы воспользоваться его ударом и с удовольствием дать сдачи. Это, скорее ранимость исследователя, который оставляет свое эго в стороне.

Открытость чувствам и переживаниями пациента, попытка понять и прочувствовать его, как себя. Другими словами, это готовность испытать то, что испытывает другой, и тем самым совершить для него внутреннюю трансформацию, которая, по мнению Биона, является основой терапевтического процесса, переработку бета-элементов в альфа-элементы.

В этой связи обида это, наверное, одно из наиболее важных в нашей работе эмоциональных состояний, именно потому что, с одной стороны, она неотменная, хотя, зачастую, менее бросающаяся в глаза составляющая многих межперсональных ситуаций, а, с другой, поскольку ее неопределённость, своего рода аморфность, с лёгкостью позволяет ей остаться за пределами сознания в качестве тёмных, неопознанных, неосмысленных бета-элементов. Для того, чтобы инициировать переработку этих вредных для души пациента элементов, необходим аналитик, обладающий внутренней настроенностью на частоту волны обиды, умеющий испытать и пережить ее.

Для этого, конечно, нужен опыт. В каких случаях аналитик испытывает обиду? Мне кажется, чаще всего, когда неожиданно хлопают дверь, т.е. прекращают анализ. Обиженный пациент говорит своему психотерапевту: «Я вас увольняю». Мне пришлось услышать это несколько раз – ужасно обидно. Пациент ставит тебя на место, подчеркивая, что он, платящий клиент, недоволен качеством сервиса. Есть в этом удар по самой дорогой нарциссической иллюзии психолога: тебе показывают, что твоя удивительная работа, требующая тонкого понимания человеческой души, ни что иное, как еще одна техслужба. Потеря иллюзии - это всегда нарциссическая рана, еще одна форма кастрации. И так же обидно, когда дают понять, что ты недостаточно талантлив или проницателен, чтобы точно уловить, что на самом деле необходимо данному пациенту, что нет у тебя этого магического жезла или, если говорить языком психоанализа, ты, в конечном итоге, кастрат. Во всех этих случаях болезненных ударов по нарциссизму аналитика, желательно, чтобы он не пытался избегать чувства обиды и дал бы себе во всей полноте пережить свою ранимость. Она важна не только бросающему нас пациенту, но и тем, которые остаются и которые еще придут. Для того, чтобы они могли переносить свои обиды, мы должны быть способны быть обиженными.

Более того, этот сознательный выбор психоаналитика не менее важен и за пределами терапевтического кабинета. Думает ли он об этом или нет, его решение заниматься психоанализом неизбежно возлагает на него определённого рода общественно-культурную миссию. В наши времена технологического изобилия и всеобщей доступности материальных и духовных удовольствий, психоанализ является своего рода альтернативной культурой, не вливающейся в общий поток. Либеральный капитализм производит прототип самовлюбленного потребителя-нарциссиста, который ценит выше всего свою собственную психологическую неуязвимость и более всего противится ощущениям боли и незащищенности. В мире, в котором все на продажу, легко податься иллюзии, что любой потере можно найти замену и тем самым избежать утраты и обиды. Это, конечно, только иллюзия, и, в противовес ей, психоанализ может предложить моральную позицию, культивирующую способность принять нашу человеческую

ранимость и незащищенность. Эта позиция, конечно же, не нова. Она основана как на известных традициях прошлого, учениях раннего христианства, буддизма, суфизма, хасидизма, так и на трудах современных мыслителей, из которых важнейшим в этом контексте является Эммануэль Левинас, хотя необходимо, наряду с ним, упомянуть работы Брахи Этингер и Джудит Батлер. Три этих мыслителя, каждый и каждая по своему, сумели донести до нас особую ценность человеческой ранимости в том сложном и, зачастую, отчужденном и обидном мире, в котором мы с вами живём.

В заключение, я хотел бы взглянуть на только что проделанной нами краткий маршрут по просторам обиды. Мы начали с ощущения недостатка и чувств дискомфорта и депрессии, сопровождающих обиду, и увидели ее обязательную межличностную природу. Мы остановились на ее агрессивных, деструктивных аспектах и на душевной боли, связанной с ними. Под конец, мы несколько неожиданно пришли к предположению, что способность ощущать обиду и быть ранимым является одной из наиболее важных характеристик психоаналитика и, по сути, определяет его моральную позицию, как по отношению к пациенту, так и к обществу, в котором он живет и действует. По Левинасу, такая позиция ставит нас в положение долга, близости и признательности по отношению к Другому. С этими чувствами я рад обратиться сейчас к организаторам и участникам этой конференции: спасибо за то, что вы позволили всем нам взглянуть внимательно и пытливно на то вездесущее явление, которое в повседневном быту мы называем обидой.